

Дмитрий
Мережковский

ЛИЦА
ГОРЬКИЙ
И ДОСТОЕВСКИЙ

УДК 82-311.6
ББК 83.3(2Рос=Рус)
М52

Мережковский, Д.

М52 Лица. Горький и Достоевский / Д. Мережковский. — М.: T8RUGRAM, 2018. — 142 с.

ISBN 978-5-521-78921-4

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) — русский писатель, поэт, литературный критик, религиозный мыслитель, творчество которого входит в сокровищницу мировой литературы.

«Лица. Горький и Достоевский» — уникальный сборник статей Мережковского, посвящённых исследованию судьбы и творчества Максима Горького и Фёдора Достоевского. Блестяще написанная книга позволит читателю по-новому взглянуть на великих русских писателей.

УДК 82-311.6
ББК 83.3(2Рос=Рус)
ВІС FС
ВІSAC FIC000000

СОДЕРЖАНИЕ

ГОРЬКИЙ И ДОСТОЕВСКИЙ.....	5
НЕ СВЯТАЯ РУСЬ.....	17
ДОСТОЕВСКИЙ.....	37
ЧЕХОВ И ГОРЬКИЙ.....	71

ГОРЬКИЙ И ДОСТОЕВСКИЙ

Спор Горького с Достоевским (из-за постановки «Бесов» на сцене Московского Художественного театра) важен и поучителен. Общественное внимание не ошибалось: недаром около этого спора возникло столько печатного и разговорного шума. Когда шум умолкнет, останутся вопросы немолчные, вечные, ибо и самый спор вечен.

В социал-демократической газете «Новая жизнь», издававшейся в 1905 году, Горький напечатал статью о Достоевском и Л. Толстом. Смысл ее почти тот же, как и теперешних обвинений Горького против Достоевского: Достоевский, Л. Толстой, вся русская художественная литература связана с духом реакции, противообщественна и, следовательно, для России пагубна.

Прошло восемь лет, — и сколько воды утекло, как все изменилось в России, как изменился русский воздух, а Горький повторяет почти те же слова тем же голосом.

Горький чуток: многое видит и слышит издали, — многое, но не все. Изменившегося воздуха как будто не чувствует, чтобы почувствовать его, надо им дышать, а он давно не дышал.

«И Достоевский велик, и Толстой гениален... но Русь и народ ее значительнее, дороже Толстого, Достоевского и даже Пушкина, не говоря обо всех нас». Не значит ли это: есть высшая ценность, которой можно принести в жертву Толстого, Достоевского — всю русскую литературу?

Да, можно. Освобождение России дороже русской литературы. Если бы оказалось, что она против освобождения, то не только можно, но и должно пожертвовать. Весь вопрос в том, действительно ли русская литература против освобождения. Восемь лет назад Горький отвечал решительно: против; теперь — уже не так решительно, но сущность ответа и теперь та же.

«Один литератор говорит, что если бы я был министром, то сжег бы Достоевского. Министром я не надеюсь быть, но все-таки считаю долгом заранее успокоить взволнованного писателя: если и буду, то не сожгу. Не сожгу, ибо русскую литературу люблю».

Успокоился ли «взволнованный писатель» — не знаю, но, прочтя отповедь Горького, я так и не понял, почему бы ему не сжечь Достоевского. «Я русскую литературу люблю», — этого мало. Если бы не любил — сжег бы; но вот любит и милует. А причина милости, повторяю, остается неизвестною.

Достоевский — «ярый шовинист, антисемит, основоположник зоологического национализма, враг Запада». В изображениях Достоевского, «на горе наше», есть правда, но это — «правда Салтычихи, Аракчеева, тюремных смотрителей и околоточных надзирателей». Излюбленный герой Достоевского Алеша Карамазов — будущий В. Розанов, «подвизающийся на поприще цинизма».

Иван Карамазов — вовсе «не глубокая совесть», а «словоблудник, Обломов, принявший нигилизм ради удобств плоти и по лени»; его «неприятие мира» — просто словесный бунт; жалость его — «сентименталь-

ная ложь, противное лицемерие». Вообще, Достоевский «создает человека по образу и подобию дикого и злого животного». Это — «клевета на Россию, на все человечество». «Я считаю это (действие Достоевского на читателей — зрителей) социально вредным», — заключает Горький.

Достоевский велик; но велик и вред, зло, которое он причиняет, и чем больше он, тем больше зло. А так как Россия все-таки дороже русской литературы, то, казалось бы, неизбежен вывод: уничтожить зло, уничтожить, сжечь Достоевского.

Почему же Горький не делает этого вывода теперь, как сделал его в 1905 году?

Попытку «сожжения» он, впрочем, и теперь делает. А если она не удастся, то не по его вине: тогда он подносил огонь к сухим дровам, теперь — к сырым.

Книги Достоевского он сохранил бы, не сжег, но театральную постановку его уничтожил бы. Если бы желание Горького исполнилось — произошел взрыв общественного негодования, — то пришлось бы, пожалуй, действительно снять постановку. Понятие «сожжения» — иносказательное и, следовательно, растяжимое. Во всяком случае, искра огня сжигающего тлеет все так же и природа его все та же, как в 1905 г., когда Горький говорил ясно и просто: сжечь.

В былые времена — осужденные цензурой книги сжигались. Вот почему довольно естественно у иных противников Горького возникла мысль о «цензуре».

Он находит, что слова о цензуре — «гаденькие и даже весьма постыдные для тех, кто их придумал». Мо-

жет быть, слова, в самом деле, неудачные. Но смысл того, что хотели сказать люди, несогласные с Горьким, ничего «постыдного» в себе не заключает. Разумеется, внешняя цензура, правительственная, постыдна и отвратительна. Но ведь не о ней идет речь, а об утонченной, внутренней «цензуре нравов», *sensura morum*, суде общественного мнения, которое может быть правым, но может и ошибаться, стесняя свободу личную там, где стеснять ее вовсе не нужно. Соединение личной свободы с общественной есть метафизический предел, вечно достигаемый, но недостижимый.

Совершенная свобода — совершенная истина.

«Познаете истину, и истина сделает вас свободным». Свобода — святость. Никто не свят — никто не свободен. Все стесняют свою и чужую свободу. Действовать — значит двигаться, а двигаться — значит занимать чужое место, стеснять других. И чем шире, общественнее действие, тем оно стеснительнее. Вот почему величайшие любители свободы общественной, такие республиканцы, как Робеспьер, Кальвин, Кромвель, были страшно стеснительны для свободы личной. Таков первородный грех человечества.

Это грустно, но не постыдно. Постыдно только *сознательное* нежелание свободы, *сознательное* насилие. А в этом никто не обвиняет Горького; его лишь предостерегают в возможном *бессознательном*, нечаянном стеснении чужой свободы. Что Горький любит свободу и хочет ее — никто не сомневается; но все имеют право усомниться — да он и сам не будет утверждать, — что обладает непогрешимым мерилom свободы.

Когда он смешивает театр Станиславского с театром Суворина, то погрешает излишнею «цензурою нравов».

«Почему то, что в грех Суворину, Немировичу-Данченко во спасение?» — спрашивает он по поводу постановки «Бесов» на обоих театрах. Станный вопрос. Неужели Горький не чувствует, что сопоставление этих двух имен, Суворина и Станиславского, невозможно?

Почему Станиславскому прощается то, что не простилось Суворину? Да потому именно, что Станиславский — не Суворин, так же как Достоевский — не кн. Мещерский. Не говоря уже о художественных ценностях, даже в смысле общественном театр Суворина — уличная грязь, а театр Станиславского — чистое золото. Смешивать золото с грязью не следует ни для какой «цензуры нравов».

Горький ошибся, не учел перемены в русском воздухе. До 1905 г. русское общество, может быть, согласилось бы на такую «цензуру» — теперь уже не соглашается. И хорошо делает.

Чтобы не смешивать золото с грязью, вовсе не нужно «последней свободы» анархической, свободы «от всех обязанностей человека и гражданина», как думает Горький; для этого достаточно свободы личной и общественной, весьма умеренной.

Если бы Горький дышал сейчас русским воздухом — он понял бы то, что мы все понимаем: почему не только русские «эстеты», но и люди общественные любят театр Станиславского, как одно из благороднейших явлений русского духа. Этого мы «сжечь» не дадим, не

только во имя «свободы искусства», свободы личной, но и во имя какой-то высшей свободы общественной.

Да, Горький ошибается, слишком презирает своих обвинителей, думая, что все они сплошь восстали на него только во имя свободы анархической.

«А вы от чего желаете освободиться? Не от всех ли обязанностей человека и гражданина?

Ибо русское понимание *последней свободы* почти всегда скрывает за собою стремление от деяния к самосозерцанию, от культуры к дикости и варварству».

Вот важное признание в устах Горького. Ведь он и сделался Горьким благодаря проповеди этой именно «последней свободы».

В самом деле, что такое «босяки», как не люди, желающие «освободиться от всех обязанностей человека и гражданина»? Что такое «босячество», как не «стремление от культуры к дикости и варварству»? И вот отец «босяков» от них отрекается. Когда-то повторяли они на разные лады те самые слова Ивана Карамазова, которые Горький так презирает: «все дозволено». «Нет, не все», — возражает Горький. Хорошо, что он понял это, понял, что «босячество» — вовсе не перл создания, не новая идея общественная, а отсутствие всяких идей и всякой общественности, — то же «хулиганство», только позолоченное фальшивым золотом Ивана Карамазова — «человекобожеством»: «Человек — это гордо, человек — Бог, я — Бог; где стану я, там сейчас место Божье и все дозволено».

«Довольно анархизма», — решает Горький. Не значит ли это: довольно босячества?